

КНИГА ВТОРАЯ

1

Афинянин. После этого надо, конечно, рассмотреть следующий вопрос: только ли одно это благо, т. е. возможность распознать природные качества человека, приносит правильно поставленное употребление вина на пиршествах, или же есть еще одно значительное преимущество, достойное всяческого усердия. Как мы скажем? Да, есть и еще одно преимущество; так, повидимому, следует из нашего рассуждения. Но в чем и как—вот что нам нужно рассмотреть со вниманием, чтобы не запутаться в этом вопросе. 652

Клиний. Итак, говори!

Афинянин. Я хочу вспомнить то, что ранее мы назвали правильным воспитанием. Ибо я заранее догадываюсь, что своим сохранением это преимущество обязано этому правильно поставленному обыкновению. 653

Клиний. Ты высказываешь что-то очень важное.

Афинянин. Я утверждаю, что первые детские ощущения—наслаждение и скорбь; через них сперва и проявляются в душе добродетель и порок. Что же касается разумности и твердых истинных представлений, то счастлив тот, в ком проявляются они хотя бы в старости. А кто обладает ими и всеми содержащимися в них благами, тот—совершенный человек. Я называю воспитанием добродетель, проявляющуюся прежде всего в детях. Если наслаждение, дружба, скорбь и ненависть возникнут надлежащим образом в душах людей, еще неспособных относиться к ним разумно, то впоследствии, получив эту способность, люди станут согласовать с разумом эти надлежаще полученные ими в

навыки. Это-то согласование и есть вся в совокупности добродетель. Ту же часть добродетели, которая касается наслаждения и скорби, которая надлежащим образом приучает ненавидеть от начала до конца то, что следует, и любить то, что следует,—эту часть можно словесно выделить и назвать не без основания, по моему мнению, воспитанием.

Клиний. Ты прав, чужестранец, в своих прежних и нынешних замечаниях относительно воспитания, как нам кажется.

Афинянин. Прекрасно! Итак, надлежащим образом направленные наслаждения и скорби составляют воспитание. Однако, в жизни людской они во многом ослабляются и извращаются. Поэтому боги из сострадания к человеческому роду, рожденному для трудов, установили, взамен передышки от трудов, божьи празднества; даровали Муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса, как участников этих празднеств, чтобы можно было исправлять недостатки воспитания на празднествах с божьей помощью. Итак ²⁶, надо рассмотреть: истинно ли и согласно ли с природой, повторяем мы, наше нынешнее утверждение, или нет. Мы утверждали, что всякое живое существо, так сказать, не может сохранять спокойствия ни в теле, ни в голосе, но всегда стремится двигаться и кричать, так что люди то прыгают и скачут, находя удовольствие, например, в плясках и играх, то кричат на все голоса. У остальных живых существ нет того чувства стройности, или нестройности в движениях, что носит название ритма и гармонии. Те же самые боги, что, как мы сказали, дарованы нам, как участники в наших хороводах, дали нам чувство ритма и гармонии, сопряженное с наслаждением. При помощи этого чувства они движут нами и предводительствуют нашими хороводами, когда мы сплетаемся друг с другом в песнях и плясках. Хороводы были названы так из-за внутреннего сродства их с названием $\chi\alpha\acute{\rho}\alpha$ ²⁷.

2

Не согласимся ли мы, прежде всего, с этим? Не установим ли мы, что первоначальное воспитание совершается через Аполлона и Муз? Или как?

Клиний. Да, так.

Афинянин. Следовательно, мы установим, что тот, кто не упражнялся в хороводах, человек невоспитанный, а кто достаточно в них упражнялся, тот воспитан. В

Клиний. Так что же?

Афинянин. Хорея в своей совокупности состоит из песен и плясок. ²⁸

Клиний. Неизбежно.

Афинянин. Поэтому человек, хорошо воспитанный, должен быть в состоянии хорошо петь и плясать.

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Посмотрите же, что именно значат эти, только что сказанные, слова.

Клиний. Какие?

Афинянин. Он хорошо поет, сказали мы, и хорошо пляшет. Не прибавим ли мы, что это будет только в том случае хорошо, если он поет и пляшет что-нибудь хорошее? С

Клиний. Прибавим.

Афинянин. А также и другое условие: он должен считать прекрасным то, что прекрасно, и безобразным то, что безобразно, и эти свои убеждения применять на деле. Не будет ли такой человек лучше воспитан в смысле хореи и мусического искусства, чем тот, кто не радуется прекрасному и не ненавидит дурного, хотя и умеет иной раз удачно служить телодвижениями и голосом тому, что он признаёт прекрасным? Или лучше тот, кто не слишком исправен в голосе и телодвижениях, но правильно руководится наслаждениями или скорбью и, таким путем, D приветствует прекрасное и досадует на дурное?

Клиний. Значительная разница между ними, чужестранец, в смысле воспитанности.

Афинянин. Не правда ли, если бы мы все трое узнали, что именно прекрасно в пении и пляске, то мы надлежащим образом отличили бы человека воспитанного от невоспитанного. E Если же этого мы не будем знать, то вряд ли можем распознать, что и как способствует сохранению воспитания. Не так ли?

Клиний. Конечно, так.

Афинянин. И вот, после этого, нам, точно собакам-ищейкам, надо разыскать, что является прекрасным в телодвижениях,

пляске, напеве и песне. Если же это от нас ускользнет, все наше рассуждение о надлежащем воспитании, эллинском или варварском, пустяки.

Клиний. Да.

Афинянин. Хорошо! Какие же телодвижения и напевы надо признать прекрасными? Скажи-ка: при одних и тех же, равно тяжелых, обстоятельствах схожими ли окажутся телодвижения и речи души мужественной и души трусливой?

Клиний. Как можно! Даже оттенок у них будет разный.

Афинянин. Отлично, друг мой! Но ведь и в мусическом искусстве есть телодвижения и напевы. Но так как предметом этого искусства служит ритм и гармония, то оно может быть только ритмичным и гармоничным; поэтому совершенно неправильно уподобление, употребляемое учителями хоров, когда они говорят о хорошем оттенке напевов или телодвижений. Что же касается телодвижений и напевов человека трусливого или мужественного, то справедливо можно признать, что у мужественных они прекрасны, у трусливых — безобразны. Но чтобы не возникло у нас чрезмерного многословия по этому поводу, пусть будет признано попросту, что всякие телодвижения и напевы, выражающие душевную и телесную добродетель—ее самое или какое-либо ее подобие—прекрасны, а все, выражающие порок, не прекрасны.

Клиний. Твое предложение правильно; именно так пусть и будет теперь постановлено нами.

Афинянин. Еще вот что: с одинаковою ли радостью участвуем мы все во всех хороводных плясках, или с далеко неодинаковою?

Клиний. С совершенно неодинаковою.

Афинянин. Что же, скажем мы, вводит нас в заблуждение? Не одно и то же ли прекрасно для всех нас, или же, хотя на деле это так, но кажется нам, что не одно и то же? Никто не скажет, будто хороводы, выражающие порок, прекраснее хороводов, выражающих добродетель, и будто сам он радуется скверным телодвижениям, а остальные люди радуются какой-либо противоположной этому музе. Впрочем, большинство утверждает, что степень получаемого душой наслаждения

и служит признаком правильности мусического искусства. Однако, такое утверждение неприемлемо и совсем нечестиво. Вот что, повидимому, вводит нас в заблуждение—

3

Клиний. Что именно?

Афинянин. В виду того, что все, относящееся к хорее, является воспроизведением поведения людей при различных действиях, случайностях и нравах, так что путем подражания воспроизводятся все черты этого поведения, то и выходит, что им радуются, их хвалят и признают прекрасными, конечно, те люди, с природой, с привычками—или и с тем, и с другим—или с действиями которых согласуются слова и песни, сопровождающие хореводы. Те же, природе, действиям или какому-либо обычаю которых это противоречит, не могут ни радоваться, ни хвалить, но признают их безобразными. У кого есть надлежащие природные свойства, но обычаи им противоположны, или же, наоборот, обычаи надлежащие, а природные свойства им противоположны, у таких людей чувство наслаждения находится в противоречии с высказываемыми похвалами. Так что они высказывают взгляд, что иные хореводы, хотя и доставляют наслаждение, дурны. Они стыдятся подобных телодвижений, стыдятся подобных песен перед людьми, которых они признают разумными, боясь, как бы не подумали, что они признают это прекрасным и поэтому так усердны; в глубине же сердца такие люди радуются этим песням и телодвижениям.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Не приносит ли это некоторого вреда тому, кто радуется дурным телодвижениям и песням? Напротив, не получают ли некоторой пользы те, кто находит удовольствие в противоположном?

Клиний. Вероятно.

Афинянин. Только ли вероятно, или же необходимо должно случиться с таким человеком то же, что бывает с теми, кто постоянно общается с людьми злыми и дурных нравов. Он их не ненавидит, а, наоборот, радуется им, они ему приятны; если же он их порицает, то только в шутку, точно его соб-

ственная нравственная негодность это только сон. И в этом случае радующийся неизбежно уподобляется тем, кому он радуется, хотя он и стыдится их хвалить. Разве могли бы мы указать на совершенно неизбежное возникновение какого-либо блага или зла большего, чем это?

Клиний. Мне кажется, никоим образом нет.

С Афинянин. Но там, где законы уже прекрасны, или будут такими впоследствии, можно ли предположить, что там всем людям, одаренным творческим даром, будет дана возможность в области мусического воспитания и игр²⁹ учить тому, что по своему ритму, напеву, словам нравится самому поэту? Допустимо ли, чтобы молодежь благозаконных граждан, под влиянием хороводов, стала относиться безразлично к добродетели и пороку?

Клиний. Как можно! Это лишено разумного основания.

Д Афинянин. Однако, в настоящее время разрешается делать именно это, так сказать, во всех государствах, кроме Египта.

Клиний. Какие же законы относительно этого в Египте?

Афинянин. И слышать-то удивительно! Искони, повидимому, было египтянами признано то положение, которое мы теперь высказываем, т. е.: в государствах у молодых людей должно войти в привычку занятие прекрасными телодвижениями и прекрасными песнями. Установив, что именно является таким, египтяне выставляют образцы напоказ в святилищах, и вводить нововведения вопреки образцам, вымышлять что-либо иное, не отечественное, не было позволено—да и теперь не позволяется—ни живописцам, ни кому другому, кто делает какие-либо изображения. То же и во всем, что касается мусического искусства. Так что, если ты обратишь внимание, то найдешь, что произведения живописи или ваения, сделанные там десять тысяч лет тому назад—и это не для красного словца десять тысяч лет, а действительно так—ничем не прекраснее и ничем не безобразнее нынешних творений, потому что и те, и другие исполнены при помощи одного и того же искусства³⁰.

Клиний. Это удивительно!

Афинянин. Да, это законоположение чрезвычайно полезно для государства. Однако, ты сможешь найти там и кое-

что неудачное. Но это постановление относительно мусического искусства верно. Заслуживает внимания, что оказалось возможным и в столь важном вопросе установить, путем твердых законов, бодрящие песни, по своей природе ведущие к надлежащему. Это могло бы быть делом бога или какого-либо божественного человека. Не даром египтяне утверждают, что эти песни, сохраняющиеся в течение столь долгого времени, творение Исиды. Как я уже сказал, если бы кто смог так или иначе схватить то, что в произведениях искусства является надлежащим, ему надо было бы смело установить это как закон. Ведь стремление к наслаждению или скорби, стремление постоянно пользоваться новшествами в мусическом искусстве не настолько, пожалуй, сильно, чтобы сгубить священную хорею, под предлогом, будто она устарела. По крайней мере, там, в Египте, это вовсе не могло случиться; совсем напротив.

Клиний. Из нынешних твоих слов ясно вытекает, что это действительно так.

4

Афинянин. Итак, отважимся сказать, что применение мусического искусства и игр, сопряженных с хореей, является правильным, если совершается так: мы радуемся, когда считаем себя счастливыми и, в свою очередь, когда радуемся, считаем себя счастливыми. Не правда ли?

Клиний. Да, конечно.

Афинянин. И когда мы радуемся, в это время мы не можем сохранять спокойствие?

Клиний. Это так.

Афинянин. Наша молодежь и сама по себе готова вести хорооводы, мы же, старшие, считаем более приличным проводить время, смотря на них, радуясь их праздничным играм. Мы тоскуем по былой нашей ловкости, покинувшей нас теперь, и охотно устраиваем состязания для тех, кто может всего более пробудить в нас воспоминание о нашей молодости.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Станем ли мы считать полнейшими пустяками высказываемое в наше время толпой мнение об участ-

никах празднеств, именно: надо считать самым мудрым и признать победителем того, кто всего более развеселит нас и заставит радоваться. На празднествах мы предаемся играм; поэтому, будто бы, должно всего более почитать того, кто всего более развеселит наибольшее число людей. Такой человек, как я только что сказал, должен, будто бы, получить победный приз. Разве неверно это мнение, разве неправильно было бы поступать именно так?

Клиний. Весьма возможно³¹.

Афинянин. Но, дорогой мой, не станем поспешно судить о столь важном вопросе. Разберемся в нем и по частям обсудим его таким образом: если бы вдруг кто так-таки, попросту, установил какое-либо состязание, не определив, будет ли оно гимническим, конным или мусическим; если бы он собрал всех находящихся в государстве, установил награды и сказал перед началом, что всякий желающий может выступить на этом состязании, что цель этого состязания заключается в том, чтобы доставить наслаждение, так что тот, кто всего более насладит зрителей—однако, совершенно неопределенным остается, каким именно образом,—этим-то и одержит победу и будет признан наиболее услаждающим участником состязания,—то к чему же привело бы подобное предисловие?

Клиний. О чем ты говоришь?

Афинянин. Возможно, что один выступит с рапсодией, как Гомер, другой с песнями под аккомпанемент кифары, третий с какой-либо трагедией, четвертый с комедией, и нет ничего удивительного, если кто выступит с кукольным театром и станет считать, что у него всего более данных, чтобы одержать победу. И вот, если явятся такие состязающиеся и тысячи других им подобных, можем ли мы сказать, кому достанется по праву победа?

Клиний. Странный вопрос! Кто может тебе на него ответить, будто он знает, прежде чем не выслушает сам каждого из состязающихся?

Афинянин. Так что же? Хотите, я отвечу на этот странный вопрос.

Клиний. Как?

Афинянин. Если бы судили совсем малые дети, то они высказались бы в пользу выступавшего с кукольным театром. Не так ли?

Клиний. Да.

Афинянин. Если бы судили подростки, то—в пользу выступившего с комедиями; в пользу трагедии—образованные женщины, молодые люди и, пожалуй, чуть ли ни большинство зрителей.

Клиний. Весьма возможно.

Афинянин. Мы же, старики, скорее всего присудили бы победу рапсоду, хорошо прочитавшему Илиаду или Одиссею, или что-либо из Гесиода; ведь нам, старикам, он доставит всего более наслаждения. Вот после этого и является вопрос: да кто же на самом деле победитель? Не так ли?

Клиний. Да.

Афинянин. Очевидно, мы с вами неизбежно скажем, что на самом деле победил тот, кто признан людьми нашего возраста. Ведь наш образ мыслей кажется бесспорно наилучшим из всех встречающихся ныне повсюду в различных государствах.

Клиний. Так что же?

5

Афинянин. Я также соглашаюсь с толпой, по крайней мере, в том, что мерилом мусического искусства является наслаждение. Однако, самой прекрасной я признаю ту Музу, что доставляет удовольствие не первым встречным, но людям наилучшим и получившим достаточное воспитание; в особенности, ту Музу, которая доставляет удовольствие отдельному выдающемуся своею добродетелью и воспитанием челоюеку. Мы потому утверждаем необходимость добродетели для тех, кто судит об этих вопросах, что им нужно быть причастными к остальной разумности, а в особенности к мужеству. Ибо настоящий судья не должен судить под влиянием театральных зрителей, не должен быть ошеломлен шумом толпы и своей собственной невоспитанностью. Человек сведущий не должен из-за недостатка мужества, из-за трусости легкомысленно произносить ложное суждение теми же устами, которыми призывал он богов пред началом суда. Ведь судья

В восседает в театре не как ученик зрителей, но, по справедливости, как их учитель, чтобы оказывать противодействие тем, кто доставляет зрителям неподобающее и ненадлежащее наслаждение. Именно таков был старинный эллинский закон. Он не был таким, как нынешние сицилийский и италийский законы, предоставляющие решение толпе зрителей так что победителем является тот, за кого всего больше было поднято рук. Этот закон погубил самих поэтов, ибо они в своем творчестве стали принаравливать к дурному вкусу своих судей, так что зрители воспитывают себя сами. Он извратил и удовольствие, доставляемое театром, ибо следовало, чтобы зрители усовершенствовались свой вкус, постоянно слыша о нравах лучших, чем у них самих. Теперь же дело обстоит как раз наоборот. Однако, что мы имеем в виду при наших нынешних рассуждениях? Посмотрите, не это ли?

К л и н и й. Что?

Д А ф и н я н и н. Мне кажется, наше рассуждение в третий или четвертый раз приходит к одному и тому же, именно: воспитание есть привлечение и приведение детей к такому образу мыслей, который законом признан правильным, и в действительной правильности которого убедились, к тому же, на опыте люди наиболее почтенные и престарелые. И вот, чтобы душа ребенка не приучалась радоваться и скорбеть вопреки закону, вопреки людям, послушным закону, но чтобы ребенок следовал в своих радостях или скорбях тем же самым положениям, что и старик, ради этого-то и были выработаны песни. Мы их называем просто песнями; на самом же деле это песни, зачаровывающие душу; они имеют серьезную цель — достигнуть вышеупомянутого согласования. А так как душа молодежи не может выносить серьезного, то надо было назвать их развлечением, песнями и исполнять их только как развлечение и песни. Так, людям больным и телесно слабым ухаживающие за ними стараются подносить полезную пищу в сладких кушаньях или напитках, а вредные средства — в несладких, чтобы больные правильно приучались любить первые и ненавидеть вторые. Точно так же и надлежащий законодатель будет убеждать поэта прекрасными речами и поощрениями; в случае же неповиновения он станет уже принуждать его творить надлежащим образом,

изображать в ритмах телодвижения, а в гармониях—песни людей здравомыслящих, мужественных и во всех отношениях хороших.

Клиний. Клянусь Зевсом, чужестранец, неужели ты думаешь, будто так поступают теперь в остальных государствах? Я, по крайней мере, насколько мог заметить, не вижу, чтобы высказываемые тобою положения соблюдались где-либо, кроме как у нас и у лакедемонян. Наоборот, постоянно возникают новшества и в плясках, и во всем прочем мусическом искусстве. Эти изменения происходят не из-за законов, а под влиянием каких-то беспорядочных наслаждений, которые далеко не таковы, даже совсем не таковы, как в Египте, и следуют далеко не с тем положением, какие, по твоим словам, применяются там.

Афинянин. Совершенно верно, Клиний. Если же тебе показалось, что я говорю, будто уже теперь осуществлено то, о чем ты говоришь, меня не удивило бы, если я допустил неясность в выражении моей мысли, и поэтому она была так понята. Я высказал только свои пожелания об осуществлении в мусическом искусстве известных положений, а тебе, вероятно, показалось, будто я говорю об уже существующем. Осуждать неисцелимые установления, далеко зашедшие в своих заблуждениях, вовсе не сладко, однако иногда это неизбежно. Если и ты согласен с этим, то скажи: у вас ли и у лакедемонян больше соблюдаются эти положения, или у остальных эллинов?

Клиний. Так что же?

Афинянин. Если бы и у остальных они соблюдались, то не признаём ли мы такое положение вещей лучшим, чем нынешнее?

Клиний. Было бы несравненно лучше, если бы осуществилось это твое пожелание, и эти положения соблюдались не только у нас и у лакедемонян.

6

Афинянин. Давайте подводить теперь итоги. Не сводятся ли правила всего вашего воспитания и мусического искусства к следующему: вы принуждаете поэтов говорить, что хороший человек, будучи здравомыслящим и справедливым, счастлив и блаженен, все равно велик ли он и силен, или же мал и слаб, богат или нет. Если он даже богаче Кинира и Мидаса ³²,

но несправедлив, то он несчастлив, и жизнь его докучна. „Ни во что не считал бы“—правильно говорит ваш поэт ³³, „и не помянул бы я мужа“, который не имеет и не осуществляет на деле всех, так называемых, благ, руководствуясь справедливостью.

661 Хотя бы „и устремлялся с врагом“ такой человек „в бой рукопашный вступить“, однако, будучи несправедливым, он не осмелится, „взирать на кровавое дело“ и не будет в беге „быстрее, чем сам фракийский Борей“. Такому человеку не достанется никогда и ничего из так называемых благ. Впрочем, то, что толпа называет благом, неправильно так называется. Ведь говорят, будто самое лучшее—здоровье, затем красота, в-третьих богатство; называют тысячи и других благ, как, например, острое зрение

в и слух, вообще, хорошее состояние органов чувств; сюда же относят возможность исполнять все свои желания, в случае обладания тиранической властью. Наконец, верх всякого блаженства, при обладании всем этим, стать как можно скорее бессмертным. Мы же с вами утверждаем, что для людей справедливых и благочестивых все это действительно наилучшие достоинства, но для несправедливых все это наихудшие, начина

с с здоровья. Да и зрение, слух, чувства, вообще жизнь—величайшее зло для человека, хотя бы он обладал вечным бессмертием и приобрел все, так называемые, блага, кроме справедливости и всей добродетели в совокупности. Меньшее зло, если такой человек проживет возможно более короткое время. Я думаю, вы убедите и принудите ваших поэтов высказывать то, о чем я только что говорил, т. е. чтобы они, подобрав соответствующие ритмы и гармонию, именно таким образом воспитывали нашу молодежь. Не так ли? Смотрите: я определенно

д утверждаю, что так называемое зло есть благо для людей несправедливых, а для справедливых—зло. Благо же для людей благих на самом деле благо, для злых—зло. Поэтому я и задаю вопрос, согласны ли вы со мной или нет?

7

Клиний. Мне кажется, кое в чем—да, но в ином нет.

Афинянин. Неужели же я не убедил вас, что человек, обладающий здоровьем, богатством, наконец, тиранической

властью—прибавлю еще для вас: у него выдающаяся сила, мужество, бессмертие, с ним не случается ни одного из так называемых бедствий, кроме только того, что он исполнен несправедливости и наглости,—неужели вам не ясно, что человек, живущий таким образом, вовсе не счастлив, а, напротив, жалок?

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Прекрасно. О чем же нам говорить после этого? Разве вам не кажется, что жизнь человека несправедливого и наглого, неизбежно, позорна, будь он и мужествен, и силен, и красив, и богат, и хотя бы в течение всей жизни он исполнял все свои желания? С этим-то вы, пожалуй, согласитесь, что такая жизнь позорна?

Клиний. Конечно, соглашусь.

Афинянин. Что же? И с тем, что она дурна?

Клиний. С этим не в такой степени.

Афинянин. Почему? А с тем, что она неприятна и вредна для него самого?

Клиний. Как можно с этим согласиться!

Афинянин. Как? Повидимому, только тогда, если какой-либо бог даст нам, друзья, согласие; ведь теперь-то у нас порядочная разногласица. Мне же, друг Клиний, это положение кажется более необходимым и очевидным, чем то, что Крит—остров. Будь я законодатель, я попытался бы принудить поэтов и вообще всех в государстве высказываться именно так; чуть ли не самое большое наказание назначил бы я тому, кто стал бы в стране выражать мнение, будто существуют какие-то люди, жизнь которых приятна, хотя они и дурны; будто полезным и выгодным является одно, а более справедливым—другое. Я стал бы убеждать моих граждан высказывать много и других мнений, противоположных, отличающихся от взглядов, повидимому, высказываемых теперь критянами и лакедемонянами, да и остальными людьми. Скажите-ка вы, лучшие из людей, ради Зевса и Аполлона, не спросить ли нам самих этих богов, давших вам законы: не является ли жизнь в высшей степени справедливая вместе с тем и в высшей степени приятной, или же есть два рода жизни: один—в высшей степени приятный, другой—в высшей степени справедливый? Если боги ответят, что есть

два рода, мы, пожалуй, спросили бы, если только правильно станем задавать вопросы: кого надо называть более счастливым—тех ли, кто ведет самую справедливую жизнь, или тех, кто ведет самую приятную? Если бы боги ответили, что последних, то неуместным оказалось бы их слово. Но не хочу говорить таких вещей о богах; скорее уже скажу его о наших отцах и законодателях. Пусть поставленный выше вопрос относится к отцу и к законодателю. Предположим, он ответит, что человек, ведущий самую приятную жизнь, всего более блажен. Я, по крайней мере, после этого спросил бы его: отец мой, разве ты не хотел бы, чтобы я жил возможно более счастливо? Между тем, ты беспрестанно и постоянно внушал мне вести жизнь возможно более справедливую. Кто таким образом изложил свои правила—все равно, законодатель он или отец,—тот оказался бы, думаю, в странном и затруднительном положении в смысле согласованности своих слов. Если же, напротив, он объявил бы, что наиболее справедливая жизнь и есть самая счастливая, то, думаю, всякий внимающий его словам стал бы исследовать, что именно прекрасное и благое оказывается в человеке сильнее наслаждения и одобряется законом. Какое же благо, лишенное наслаждения, может явиться для человека справедливого? Скажи-ка, неужели слава и хвала со стороны людей и богов, хотя и являются чем-то благим и прекрасным, однако, неприятны, а бесславие—наоборот? Конечно нет, дорогой законодатель, скажем мы. Неужели неприятно никого не обижать и не быть никем обижаемым, хотя это есть нечто благое и прекрасное, и неужели же иное приятно, несмотря на то, что оно позорно и дурно?

Клиний. И что же?

8

В Афинянин. Итак, учение, не отделяющее приятного от справедливого, благого и прекрасного, имеет, по крайней мере, то преимущество, что убеждает каждого человека желать вести благочестивую и справедливую жизнь. Слова же законодателя, если он станет утверждать, что это не так, в высшей степени позорны и сами себе противоречат. Ведь никто не дал бы

себя убедить добровольно исполнять то, что не влечет за собой более радости, чем скорби. То, на что смотрят издали, причиняет головокружение, так сказать, всем, а в особенности детям. Законодатель же, по моему мнению, разогнав эту дымку, должен дать возможность иметь ясное представление. Он должен убеждать всяческими навыками, похвалами и рассуждениями, что справедливость и несправедливость точно свет и тень на картине, так что несправедливость является противоположностью справедливости, и, когда смотришь на нее с точки зрения ее собственной, т. е. несправедливой и дурной, она кажется приятной, а справедливость—в высшей степени неприятной. Если же смотреть с точки зрения справедливости, то все выходит как раз наоборот.

Клиний. Это очевидно.

Афинянин. Какую из этих двух точек зрения признаем мы более значительной, в смысле истинности суждения? Точку ли зрения худшей души, или же лучшей?

Клиний. Необходимо признать, что—лучшей.

Афинянин. Значит, необходимо признать и то, что несправедливая жизнь не только более позорна и скверна, но и поистине более неприятна, чем жизнь справедливая и благочестивая.

Клиний. По крайней мере, друзья мои, так вытекает из нынешнего рассуждения.

Афинянин. Но если бы даже это было не так, как нам показало наше нынешнее рассуждение, то законодатель, хоть сколько-нибудь полезный, дерзнул бы употреблять ложь по отношению к молодым людям ради их же блага. А разве смог бы он найти ложь более полезную, чем эту, для того чтобы заставить добровольно, а не по принуждению, поступать во всем справедливо.

Клиний. Истина прекрасна, чужестранец, и пребывает непоколебимо, но убедить в ней, повидимому, нелегко.

Афинянин. Допустим. Однако, оказалось легким делом заставить поверить сказке про сидонца, хотя она столь невероятна, да и тысяче других³⁴.

Клиний. Какой сказке?

Афинянин. О том, как из посеянных зубов родились вооруженные люди. Для законодателя это великий пример, что

можно убедить души молодых людей в чем угодно. Поэтому ни о чем другом он не должен заботиться столько, как о том, чтобы разыскать те положения, уверенность в которых доставит государству величайшее благо. Законодатель должен найти всяческие средства, чтобы узнать, каким именно образом можно заставить все целиком людское общество постоянно, в течение всей жизни, высказывать как можно более одни и те же взгляды относительно этих предметов, как в песнях, так и в сказаниях и рассуждениях. Если вы придерживаетесь иного мнения, чем я, то ничто не препятствует подвергнуть обсуждению спорный вопрос.

В Клиний. Мне кажется, никто из нас обоих не может спорить с этими положениями.

Афинянин. Следовательно, мое дело говорить о дальнейшем. Я утверждаю, что все три хоровода должны петь песни, очаровывающие молодые, еще нежные, души детей. В этих песнях надо высказывать все те прекрасные положения, что мы изложили и еще, пожалуй, изложим. Но главным положением пусть будет следующее: наилучшая жизнь признается богами наименее приятнейшей. Высказывая это положение, мы выразим сущую

С правду и, вместе с тем, скорее убедим тех, кого надо, чем если бы мы выражали этот взгляд как-либо иначе.

Клиний. Надо согласиться с твоими словами.

Афинянин. Итак, вполне правильно было бы первым выступить детскому хороводу Муз, чтобы со всяческим рвением перед всем государством открыто воспеть эти положения. Вторым хоровод будет состоять из людей, еще не достигших тридцати лет. Он будет призывать Пэана³⁵ в свидетели истинности своих слов, моля его быть милостивым к молодежи и помочь D убедить ее, в чем нужно. В третьем хороводе будут петь люди от тридцати лет до шестидесяти. А кто старше этого возраста, кто уже не в силах петь, те пусть будут сказителями мифов, касающихся этих же самых нравственных правил, основываясь на божеском откровении.

Клиний. О каком это третьем хороводе говоришь ты, чужестранец? Мы как-то не слишком ясно представляем, что ты хочешь этим сказать.

Афинянин. А между тем, чуть ли ни ради этих хороводов и было изложено большинство предшествующих рассуждений.

Клиний. Мы все еще не понимаем. Попробуйся объяснить яснее.

9

Афинянин. Как вы помните, мы сказали в начале нашего рассуждения, что природа всех молодых существ пламенна и, поэтому, не в состоянии сохранять спокойствия ни в теле, ни в голосе, а постоянно кричит беспорядочно и скачет. Кроме человеческой природы, ни одно из остальных живых существ не обладает чувством порядка в телодвижениях и звуках. Порядок в движении носит название ритма, порядок в звуках, являющийся при смешении высоких и низких тонов, получает название гармонии. То и другое вместе называется хореей. Затем мы сказали, что боги, из сострадания, дали нам в участники и предводители наших хороводов Аполлона и Муз; третьим же мы назвали, насколько помнится, Диониса.

Клиний. Конечно, мы помним это.

Афинянин. О хоре Аполлона и Муз уже было сказано. Теперь необходимо поговорить об оставшемся третьем хоре, в хоре Диониса.

Клиний. Как? Расскажи об этом; ведь тому, кто в первый раз слышит о Дионисическом хоре стариков, это кажется чрезвычайно странным. Неужели, в самом деле, этот хор будет состоять из людей, которым уже за тридцать, из тех, кому пятьдесят лет и так до шестидесяти?

Афинянин. Ты говоришь сущую правду. Действительно, это надо обосновать некоторыми доводами, чтобы показать, как это согласуется с здравым рассудком.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Не правда ли, по крайней мере, относительно предшествующего-то мы согласны?

Клиний. Относительно чего именно?

Афинянин. Что каждый человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина, словом, все целиком

государство должно беспрестанно петь для самого себя очаровывающие песни, в которых будут выражены все те положения, что мы разобрали. Они должны и так и этак постоянно видоизменять и разнообразить песни, чтобы поющие испытывали наслаждение и ненасытную какую-то страсть к песнопениям.

К л и н и й. Можно ли не согласиться, что это должно совершаться именно так.

Д А ф и н я н и н. При каких же условиях наилучшая часть государства, внушающая наибольшее к тому же доверие— в виду своего возраста и разумности, воспевая самое прекрасное, принесет всего больше блага? Неужели мы, по неразумию, пропустим то, что является самым замечательным из наилучших и наиболее полезных песен?

К л и н и й. Из твоих слов теперь вытекает, что пропустить это совершенно невозможно.

А ф и н я н и н. Но как можно подобающим образом это осуществить? Посмотрите, не так ли?

К л и н и й. Как?

Е А ф и н я н и н. Всякий человек, достигший преклонных лет, преисполняется отвращением к песням. Ему крайне неприятно самому исполнять их; если же представится к тому какая нужда, он стал бы испытывать тем больший стыд, чем он старше и здравомысленнее. Не правда ли?

К л и н и й. Правда.

А ф и н я н и н. Поэтому с тем большим основанием стал бы он стыдиться, если бы ему пришлось петь в театре, выступая перед самыми разнообразными людьми. Если бы слабые старики были принуждены петь натошак, как это делают при своих упражнениях хоры, состязающиеся из-за победы, они делали бы это совершенно без удовольствия, но со стыдом и неохотно.

666 К л и н и й. Да, это неизбежно.

А ф и н я н и н. Какими же уговорами можем мы их заставить петь охотно? Не правда ли, мы установим закон, чтобы дети до восемнадцати лет совершенно не вкушали вина; мы растолкуем, что не надо ни в тело, ни в душу к огню прибавлять огня, прежде чем человек не достигнет того возраста, когда можно приняться за труд. Должно остерегаться неистовства, свойственного молодежи. Люди, не достигшие тридцати лет,

могут уже вкушать вино, но умеренно, ибо молодой человек должен совершенно воздерживаться от пьянства и обильного употребления вина. Достигшие сорока лет могут пировать на сисситиях, призывая как остальных богов, так, в особенности, Диониса на священные празднества и развлечения стариков. Ведь Дионис даровал людям вино, как лекарство, помогающее при угрюмой старости, так что мы снова молодеем и забываем наше скверное настроение; наш жесткий нрав смягчается, точно железо, положенное в огонь, и поэтому делается более гибким. С
Итак, прежде всего, разве не пожелает всякий, испытывающий подобное состояние, с большей охотой и с меньшим стыдом петь—и, как мы не раз уже говорили, зачаровывать—среди скромного числа слушателей, а не целой толпы, среди близких, а не среди чужих.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Так что этот способ заставить стариков участвовать у нас в пении не так-таки уже несообразен? D

Клиний. Совсем нет.

10

Афинянин. Но что будут петь эти люди? Какова будет их Муза? Впрочем, ясно, что это будет нечто приличествующее им самим.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Но что подобает божественным людям? Не хороводные ли песни?

Мегилл. Мы, по крайней мере, чужестранец, и лакедемоняне вряд ли сможем исполнять какие-либо иные песни, чем те, которым мы научились в хороводах и которые мы привыкли петь.

Афинянин. Это естественно. В самом деле, ведь вы не владеете наилучшим родом пения; ведь у вас государственный строй—строй военного лагеря, но не мирных городских жителей. Ваша молодежь точно жеребята, пасущиеся в стадах, соединенные в одну толпу. Никто из вас не держит при себе своего сына, не извлекает его, сильно одичавшего и раздраженного, из среды пасущихся с ним вместе, не приставляет E

особо к нему конюха, не воспитывает его, чистя скребницею и укрощая; никто не предоставляет молодому человеку всего требуемого для воспитания, чтобы он стал не только хорошим 667 воином, но смог управлять и государством, и городами. А ведь такой человек, как мы в начале сказали, будет лучшим воином, нежели воины Тиртея, ибо он повсюду—и в частных людях, и во всем государстве—станет всегда почитать мужество четвертым, а не первым достоянием добродетели.

Клиний. Я не знаю, чужестранец, за что ты снова порицаешь наших законодателей.

Афинянин. Дорогой мой, если я и делаю это, то совершенно ненамеренно. Впрочем, давайте, если хотите, двигаться в по тому пути, куда нас ведет наше рассуждение. Если бы у нас была Муза более прекрасная, чем Муза хороводов и общественных театров, мы попытались бы предоставить ее тем, кто, по нашим словам, стыдится первой Музы и разыскивает ту Музу, что всех прекраснее, чтобы с нею общаться.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Не правда ли, со всем тем, с чем связана какая-либо приятность, дело обстоит так, что самым важным является или именно эта самая приятность, или же какая-либо правильность, или, в-третьих, польза. Для примера укажу на ту приятность, которая связана с едой, питьем, всем вообще питанием, и которую мы отнесем, пожалуй, к наслаждениям. с Что же касается правильности и пользы, то признаваемое нами в каждом отдельном случае за здоровое из предлагаемого нам, это-то именно и есть в нем самое надлежащее.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Точно так же и с усвоением наук связана приятность, т. е. наслаждение; истина довершает правильность, пользу, благо и красоту.

Клиний. Да, это так.

Д Афинянин. А изобразительные искусства? Если созданные ими схожие с подлинником воспроизведения доставляют, вдобавок, и наслаждение, то не следует ли, с полным правом, и это признать приятностью?

Клиний. Да.

Афинянин. Однако, правильность в этих искусствах обусловлена не наслаждением, но, говоря вообще, равенством воспроизведения и подлинника в отношении величины и качества.

Клиний. Верно.

Афинянин. Следовательно, наслаждение служит правильным мерилom только в таких вещах, которые хотя не производят никакой пользы, истины и сходства, однако, с другой стороны, не доставляют и никакого вреда, но творятся исключительно ради того, что при других предметах является только сопутствующим, т. е. ради приятности, которую прекрасно можно назвать наслаждением, если с ней не связаны вышеупомянутые свойства. E

Клиний. Ты говоришь только о безвредном наслаждении?

Афинянин. Да, и я называю это развлечением тогда, когда оно не приносит ни вреда, ни пользы для чего-нибудь достойного усердия и упоминания.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. На основании только что сказанного, уже нельзя утверждать, будто мерилom всякого рода воспроизведения является наслаждение, или же неистинное представление. То же самое и по отношению ко всякому равенству. 668 Ведь равное является равным и соразмерное соразмерным не потому, что так нравится или так по вкусу кому-либо, но мерилom здесь является, по преимуществу, истина, а не что другое.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. А всякое мусическое искусство мы признаём искусством изобразительным и воспроизводящим.

Клиний. Так что же?

Афинянин. Следовательно, совершенно нельзя согласиться с положением, будто мерилom мусического искусства является наслаждение. Если где и существует такое мусическое искусство, то всего менее должно искать его; точно это что-то серьезное. Надо применять только тот род мусического искусства, который, вследствие воспроизведения красоты, обладает сходством с ней. B

Клиний. Ты вполне прав.

Афинянин. Поэтому люди, ищущие самую прекрасную песнь и музу, должны разыскивать, как кажется, не ту музу, что приятна, но ту, которая правильна. А правильность воспроизведения заключается, как мы сказали, в соблюдении величины и качества подлинника.

Клиний. Конечно, так.

Афинянин. Но относительно мусического искусства всякий с согласится, что все относящиеся к нему произведения являются воспроизведением и уподоблением. Неужели с этим не согласятся все поэты, слушатели и актеры?

Клиний. Без сомнения, согласятся.

Афинянин. Конечно, о каждом отдельном произведении надо, чтобы не впасть в ошибку, знать, что оно собственно собою представляет. Кто не знает его сущности, его замысла, кто не знает, действительным изображением какого предмета оно является, тот едва ли распознаёт правильность или ошибочность его замысла.

Клиний. Да, едва ли.

Афинянин. Но человек незнающий, что является правильным, будет ли в состоянии распознать, что хорошо и что дурно? Впрочем, я выражаюсь недостаточно ясно; быть может, так будет яснее—

Клиний. Как?

11

Афинянин. У нас есть тысячи уподоблений, предназначенных для зрительного восприятия.

Клиний. Да.

Афинянин. Так что же? Если бы кто при этом не знал, что именно служит предметом того или иного воспроизведения, разве смог бы судить он о правильности выполнения? Я разумею вот что: разве сможет он распознать, например, соблюдены ли в воспроизведении пропорции тела, так ли расположены его отдельные части, столько ли их, соблюден ли надлежащий порядок в их взаимном расположении, то же самое и относительно окраски и облика, или же все это воспроизведено

беспорядочно. Неужели можно думать, что все это распознаёт тот, кто совершенно не знаком с тем живым существом, которое послужило оригиналом?

Клиний. Как можно!

Афинянин. Но если бы мы знали, что нарисован или изваян человек, если бы художник уловил все его части и равным образом окраску и облик, то неизбежно, тот, кто знает подлинник, будет готов судить, прекрасно ли это произведение, или же в нем есть кое-какие недостатки в смысле красоты. 669

Клиний. Да, чужестранец, потому что, так сказать, все мы знакомы с красотой живых существ.

Афинянин. Ты совершенно прав. Значит, тот, кто хочет здраво судить о каждом изображении живописного, мусического или какого иного искусства, должен обладать следующими тремя вещами: прежде всего знанием, что именно изображено, затем правильно ли изображено, и, в-третьих, хорошо ли любое изображение исполнено словами, напевом, ритмами. в

Клиний. Повидимому, так.

Афинянин. Однако, не станем унывать при обсуждении трудных вопросов, связанных с мусическим искусством. Ведь именно в виду того, что мусическое искусство прославлено несравненно больше остальных видов изображения, здесь-то более, чем во всяких видах изображения, и необходима особая осторожность. Кто в нем ошибается, тот приносит себе чрезвычайный вред, ибо становится дружелюбным к дурным нравам; заметить же свою ошибку в высшей степени трудно, ибо поэты гораздо худшие творцы, чем сами Музы. Ведь Музы никогда не ошиблись бы настолько, чтобы словам мужчин придавать женский оттенок и напев, чтобы, с другой стороны, соединять напев и облик благородных людей с ритмами рабов и людей неблагородных и, начавши с благородных ритмов и облика, вдруг прибавить к ним напев или слово, противоречащее этим ритмам. Никогда Музы не смешали бы вместе голоса зверей, людей, звуки орудий и всяческий шум, с целью воспроизвести что-либо единое. Человеческие же поэты сильно спутывают и неразумно смешивают все это, так что вызвали бы смех тех людей, которые, по выражению Орфея, получили в удел „возраст услад“³⁶; эти-то ведь видят, что все здесь спутано. с d

Подобного рода поэты отделяют, сверх того, ритм и облик от напева, прозаическую речь помещают в стихи, а с другой стороны, они употребляют напев и ритм без слов, пользуясь отдельно взятой игрой или на кифаре, или на флейте. В таких случаях, т. е. когда ритм и гармония лишены слов, очень трудно бывает распознать их замысел, и какому из достойных внимания роду воспроизведения уподобляется это произведение. Необходимо, впрочем, заметить, что, насколько подобного рода искусство весьма пригодно для скорой и без запинки ходьбы и для изображения звериного крика, настолько же это искусство, пользующееся игрой на флейте и на кифаре независимо от пляски и пения, полно не малой грубости. Применение отдельно взятой игры на флейте и на кифаре заключает в себе нечто в высокой степени безвкусное и достойное лишь фокусника.

Вот что я хотел сказать по этому поводу. Но наше внимание, впрочем, направлено не на то, чего не должны применять наши граждане, уже достигшие тридцати лет и переступившие за пятьдесят, но на то, что они должны исполнять. Из вышеуказанных соображений, мне кажется, очевидно вытекает следующее: те из пятидесятилетних граждан, которым подобает петь, должны быть лучше образованы в хорической Музе. Ибо им необходимо иметь тонкий вкус и сведения относительно ритмов и гармоний; иначе как мог бы кто распознать правильность напевов, подходит ли в известном случае дорический лад⁸⁷, или нет, правильный ли употребил поэт ритм, или нет?

Клиний. Ясно, что иначе никак нельзя.

Афинянин. Так что смешны широкие толпы в своем мнении, будто они достаточно распознают, что гармонично и ритмично и что нет—по крайней мере, таковы те из них, которые, по принуждению, научились подпевать и маршировать в такт. Они делают это, не зная ничего в отдельности о пении и ритме. Они не могут уразуметь, что правилен тот напев, который связан с тем, что к нему подходит, и обратно.

Клиний. Это безусловно необходимо.

Афинянин. Так что же? Тот, кто даже не знает, с чем связана песня, сможет ли, как мы сказали, распознать, правильно ли она с чем связана?

Клиний. Это невозможно.

Афинянин. Итак, теперь, как кажется, мы открыли, что нашим певцам, которых мы ныне приглашаем и стараемся каким-либо образом заставить петь добровольно, необходимо достигнуть такой степени образованности, чтобы каждый из нас был в состоянии следовать за ритмическими ударениями и за напевом струн. Наблюдая гармонии и ритмы, они смогли бы таким образом выбрать подобающее, подходящее для пения людям их возраста и их свойств. Они должны петь именно это. При таком пении они и сами тотчас насладятся невинным наслаждением и станут руководить более молодыми людьми, возбуждая в них должную любовь к добрым нравам. Достигнув этой степени образованности, они овладеют более основательным образованием, нежели образование широких толп, да и самих поэтов. Ведь поэту нет никакой необходимости знать, прекрасно ли его воспроизведение, или же нет, что составляет третью точку зрения; но поэту почти-что необходимо знать правила гармонии и ритма. Те же, кому предстоит выбрать самое прекрасное и приближающееся к нему, должны иметь в виду все эти три точки зрения; ибо иначе они не смогут, зачаровывая, увлекать молодежь к добродетели. Мы доказали, по мере сил, что прекрасно было высказано то положение, которое мы выставили в начале нашей беседы, а именно, что можно помочь Дионисическому хору. Посмотрим, удалось ли это нам. Подобное собрание, по необходимости, постоянно становится тем более шумным, чем больше пьют. Уже в начале мы предположили необходимость этого относительно разбираемого сейчас предмета.

Клиний. Да, это необходимо.

Афинянин. Во время подобного собрания всякий чувствует себя в приподнятом настроении; он весел, преисполнен словесной несдержанности, не слушает окружающих, воображает, что он в силах управлять самим собой и остальными людьми.

Клиний. Так что же?

Афинянин. Разве мы не сказали, что в этом случае души людей пьющих охватываются огнем, и точно железо, становятся мягче, моложе, а вследствие этого и более податливыми—такими

они были в юности—тому, кто может и умеет воспитывать и лепить. Этим лепщиком является то же самое лицо, что и тогда; это—хороший законодатель. Он должен установить законы, касающиеся пиров, так, чтобы эти законы смогли заставить совершать все противоположное тому, что делает человек, возымевший добрые надежды, ставший отважным, позабывший стыд более, чем должно, не желающий соблюдать порядка и выжидать своей очереди молчания, речи, питья и музыки. Они должны внушить этому человеку справедливый страх, самого прекрасного воителя против D непрекрасной отваги, вошедшей в него—страх божий³⁸, который мы назвали совестью и стыдом.

Клиний. Да, это так.

Афинянин. Стражами, содействующими этим законам, должны быть люди спокойные и трезвые; именно они должны быть начальниками над нетрезвыми. Без них воевать с опьянением страшнее, чем воевать с врагами, не имея спокойных военачальников. Кто не может себя заставить повиноваться этим E законам и переступившим за шестьдесят лет руководителям Дионисического дела, тот пусть понесет равный или даже больший стыд, чем тот, кто не слушается военачальников Арева дела.

Клиний. Правильно.

Афинянин. Не правда ли, если бы опьянение и развлечения были так новы, то пирующие получали бы от них пользу³⁷² и расходились с них не врагами, как теперь, но еще больше друзьями, чем были прежде. Если бы трезвые руководили нетрезвыми, все взаимное общение на пирах совершалось бы согласно законам.

Клиний. Верно, если бы все было так, как ты сейчас сказал.

Афинянин. Не станем же безусловно порицать дар Диониса, будто он плох, или недостойн быть принят в государство. Можно было бы сказать даже больше; однако, я не решаюсь указывать перед широкими толпами на величайшее благо,

даваемое им: ведь эти люди так превратно понимают и разумеют слова.

Клиний. Какое благо?

Афинянин. Как-то незаметно распространился взгляд и молва, будто у этого бога его мачеха, Гера, похитила душевную сознательность, и что будто бы, поэтому, он из мести ввел вакхические празднества и всякие неистовые пляски и с этою-то целью и даровал вино³⁹. Я предоставляю это говорить тем, кто считает, что можно безопасно говорить подобные вещи о богах. По крайней мере, насколько я знаю, ни одно живое существо не рождается на свет, уже обладая всем тем умом, какой подобает ему иметь в зрелых летах. В течение того времени, пока это живое существо еще не приобрело свойственной ему разумности, оно неистовствует и беспорядочно кричит, а как скоро воспрянет⁴⁰, то и беспорядочно скачет. Припомним же наше утверждение, что в этом-то и кроется начало мусического и гимнастического искусства.

Клиний. Как этого не помнить!

Афинянин. Не правда ли, мы утверждаем, что это начало дало нам, людям, чувство ритма и гармонии⁴¹, и что из богов виновниками этого являются Аполлон, Музы и Дионис.

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Остальные люди, повидимому, считают, что вино дано людям в наказание, чтобы мы впадали в неистовство. Мы же теперь, наоборот, утверждаем, что вино дано, как лекарство, для того, чтобы душа приобретала совестливость, а тело — здоровье и силу.

Клиний. Ты верно напомнил, чужестранец, наше утверждение.

Афинянин. Одну половину вопросов о хорее мы разбирали. Разобрать ли нам другую половину, чтобы выяснить наши остальные взгляды по этому поводу, или же оставить?

Клиний. О чем ты говоришь и как это разделяешь ты хорей на две половины?

Афинянин. По нашему, вся в совокупности хорей есть все в совокупности воспитание. Одну ее часть составляет то, что относится к звуку, т. е. ритмы и гармонии.

Клиний. Да.

673 Афинянин. Другая же часть касается телодвижений, которые имеют нечто общее с движениями звука: это ритм; но в них есть и нечто свое: это облик, а там движение звука, напев.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Действие звуков, воспитывающее и ведущее душу к добродетели, мы, не знаю каким образом, назвали мусическим искусством.

Клиний. И совершенно правильно.

Афинянин. Если же телодвижения, которые мы обозначили как пляску развлекающихся людей, ведут к усовершенствованию тела, то такое искусное руководство ими мы назвали бы гимнастическим искусством.

Клиний. Правильно.

В Афинянин. Я и сейчас повторяю, что теперь мы уже достаточно разобрали вопрос о мусическом искусстве, составляющем почти половину хореи. Что же, будем ли мы говорить о другой ее половине? как нам поступить?

Клиний. Вопрос о мусическом искусстве нами разобран, о гимнастическом же еще нет. Между тем, дорогой мой, ты-то ведь беседуешь с критянами и лакедемонянами; что же, ты думаешь, каждый из нас обоих ответит тебе на подобный вопрос?

С Афинянин. Я сказал бы, что этим своим вопросом ты, пожалуй, даешь мне ясный ответ. Я понимаю, что этот твой вопрос есть не только ответ, но и поручение разобрать вопрос о гимнастическом искусстве.

Клиний. Ты совершенно верно заметил; так и поступи.

Афинянин. Приходится. Впрочем, говорить о вопросе, знакомом вам обоим, не слишком трудно. Ведь вы гораздо более опытни в этом искусстве, чем в мусическом.

Клиний. Пожалуй, ты прав.

Д Афинянин. Не правда ли, начало и этого развлечения кроется в природной склонности каждого живого существа к скаканию; человек же, получив, как мы сказали, чувство

ритма, создал и породил пляску. Ритм пробуждает и вызывает в памяти напев ⁴². Их взаимное соединение породило хорею, как развлечение.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Одну часть, именно мусическую, мы уже разобрали. Попытаемся в дальнейшем разобрать другую часть, т. е. гимнастическую.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Однако сперва увенчаем ⁴³ обсуждение вопроса о применении опьянения, если вам угодно.

Клиний. Что ты под этим разумеешь?

Афинянин. Если какое-нибудь государство стало бы, по правилам, установленным законами, серьезно пользоваться вышеупомянутым обычаем, употребляя его как упражнение в здравомыслии; если бы по этому самому положению оно равным образом не воздерживалось и от остальных наслаждений, применяя их как средство для господства над этими наслаждениями, то пользоваться всем этим такое государство должно было бы именно вышеуказанным образом. Если же оно смотрит на них только как на развлечение и позволяет всякому желающему пить в любое время, с кем угодно, и в соединении с любыми другими обыкновениями, то я не подал бы своего голоса за то, будто государство и отдельный человек должны именно так пользоваться опьянением. Но еще более, чем за критский и лакедемонский обычай, подал бы я свой голос за карфагенский закон: в лагере никто не должен вкушать вина, но должно на совместных собраниях пить только воду в течение всего этого времени; в пределах государства ни раб, ни рабыня никогда не должны вкушать вина; ни правители в течение того года, когда они отправляют свою должность; ни кормчие, ни судьи, стоящие у своего дела, совершенно не должны вкушать вина; ни всякий, кто собирается участвовать на каком-либо совещании, достойном внимания; ни днем совершенно нельзя пить никому — разве что для телесных упражнений и по причине болезни — ни ночью, имея в виду брачное общение. Можно было бы перечислить еще целый ряд случаев, при которых люди, обладающие разумом и правильным законом, не должны

пить вина. Так что, по этому правилу, никакое государство не
с будет нуждаться в большом числе виноградников. Все остальные
виды земледелия и весь, вообще, образ жизни был бы упорядочен,
виноделие же применялось бы в весьма умеренных размерах. Этим-то,
чужестранцы, если вы согласны, хотел бы я увенчать нашу беседу о вине.

К л и н и й. Прекрасно, мы согласны.
